

# Заметки на папиросной коробке

обывателя и пустого шутника с легкой пошлой до человека удивительной внутренней красоты, благородства и спокойного мужества — был поразительно нагляден.

У МНОГИХ из нас есть плохая привычка записывать в двух-трех словах свои мысли, впечатления и номера телефонов на папиросных коробках. Потом, как правило, коробки эти теряются, а с ними исчезают из памяти целые дни нашей жизни.

День жизни — это совсем не так просто и не так мало, как может показаться. Попробуйте вспомнить любой свой день — минута за минутой — все встречи, разговоры, мысли, поступки, все события и душевные состояния, свои и чужие, — и вы убедитесь, что восстановить весь этот поток времени можно, только написав новую книгу, если не две, а то и все три.

Однажды биограф Чехова А. И. Роскин предложил нам, собравшимся зимой в Ялтинском доме писателей, заняться этой, как он шутя говорил, «работкой».

Мы с радостью встретили эту идею Роскина. Каждый начал писать свою «Книгу одного дня», но вскоре все бросили это занятие. «Работка» оказалась труднейшей, почти непосильной даже для опытных и работоспособных мастеров. Она требовала непрерывного напряжения памяти и брала уйму времени, несмотря на то, что при ней отпадали тяжелые для писателя заботы о теме, сюжете и композиции. Все делала за нас сама жизнь.

У меня тоже есть плохая привычка записывать свои мысли на чем попало, в частности на папиросных коробках. Я всегда был уверен, что никогда не потеряю эти коробки, но тотчас терял их.

Эти небрежные свои записки я оправдывал тем, что Эдуард Багрицкий читал мне свои стихи «По рыбам, по звездам пронесит шаланду», считывая их с затрепанной папиросной коробки «Герцеговина-Флор».

Но несколько коробок все же уцелело. Одна из них имеет отношение к Чехову и чеховскому дому в Ялте. Я попытаюсь расшифровать сохранившиеся на этой коробке полустертые и короткие записки.

Я обещал написать статью о Чехове. Но, начав ее, тут же убедился, что писать сейчас о Чехове в том жанре, какой мы определяем словом «статья», очень трудно и, пожалуй, почти невозможно. Кажется, что все слова в русском языке, которые можно отнести к Чехову, уже сказаны, уже истрачены. Любовь к Чехову переросла наши словарные богатства. Она, как и каждая большая любовь, быстро исчерпала запас наших лучших выражений. Возникает опасность повторений и общих мест.

О Чехове сказано как будто все. Но пока еще мало сказано о том, что оставил Чехов нам в наследство в наших характерах и как Чехов своим существованием определил сегодня жизнь тех, кому он дорог.

Почти ничего не сказано о «чувстве Чехова» — всегда живого и милого

нам человека, о чувстве сильном и благодарном.

Константин ПАУСТОВСКИЙ

И вот я решил статьи не писать, а обратиться к своим запискам на папиросной коробке. Может быть, там где-нибудь и проскользнет то «чувство Чехова», которое я не могу еще точно определить.

Записки эти, как я уже говорил, очень коротки. Например: «1950 год. Я один в доме. Мохнатая собачка лает внизу. По традиции ее зовут Каштанкой».

Память получила легкий толчок и начинает восстанавливать прошлое.

Это было осенью 1950 года. Я пришел в Ялтинский дом Чехова к Марии Павловне. Ее не было, она ушла куда-то по соседству, а я остался ждать ее в доме. Старуха работница провела меня на террасу.

Стояла та обманчивая и удивительная ялтинская осень, когда нельзя понять — доцветает ли весна или расцветает прозрачная осень. За балюстрадой горел на солнце во всей своей девственной белизне куст каких-то цветов.

Цветы уже осыпались от каждого веяния или, вернее, дыхания воздуха. Я знал, что этот куст был посажен Антоном Павловичем, и боялся прикосновения к нему, хотя мне и хотелось сорвать на память хоть самую ничтожную веточку. Наконец я решился, протянул руку к кусту и тотчас же отдернул ее, — снизу, из сада, на меня залаяла мохнатая рыжая собачка по имени Каштанка. Она отбрасывала задними лапами землю и лаяла совершенно так, как писал Чехов:

— Р-р... нга-нга-нга! Р-р... нга-нга-нга!

Я невольно рассмеялся. Собачка села, расставила уши и начала слушать. Солнце просвечивало ее желтые добрые глаза.

Было тихо, тепло. Синий солнечный дым подымался к небу со стороны моря, как широкий занавес, и за этим занавесом мощно и мужественно, в три тона, протрубил теплоход.

Я услышал в комнатах добрый голос Марии Павловны, и вдруг у меня сердце сжалось с такой силой, что я с трудом сдержал слезы. О чем? О том, что жизнь неуловима, что хотя бы некоторым людям, без которых мы почти не можем жить, она должна бы дать если не бессмертия, то долгую жизнь, чтобы мы всегда ощущали у себя на плече их легкую руку.

Я тут же устыдился этих мыслей, но горечь не проходила. Разум говорил одно, а сердце — другое. Мне казалось, что в то мгновение я отдал бы половину жизни, чтобы услышать за дверью спокойные шаги и покашливание давним-давно ушедшего отсюда хозяина этого дома. Давным-давно! Со дня его смерти прошло 46 лет. Этот срок казался мне одновременно и ничтожным, и невыносимо огромным.

Цветы за балюстрадой тихонько опадали. Я смотрел на перепархивающие легчайших лепестков, боялся, чтобы Мария Павловна не вошла раньше времени и не заметила моего волнения, и успокаивал себя совершенно искренними мыслями о том, что в каждой ветке этого куста есть нечто вечное, постоянное движение соков под корой — такое же постоянное, как и ночное движение светил над тихо шумящим морем.

Пришла Мария Павловна, заговорила о Левитане, рассказала, что была влюблена в него, и, рассказывая, покраснела от смущения, как девочка.

Сам не зная почему, но я, выслушав Марию Павловну, сказал:

— У каждого, должно быть, была своя «Дама с собачкой». А если не была, то обязательно будет.

Мария Павловна снисходительно улыбнулась и ничего не ответила.

После этого я много раз приходил в чеховский дом в разные времена года. Внутрь я входил редко. Чаще всего я прислонялся к ограде и, постояв немного, уходил.

Особенно притягательным был этот дом зимой. Низкая тьма висела над морем. В ней тускло проступали бортовые огни парохода, и я, по рассказам моряков, знал, что с палубы парохода иногда можно увидеть в бинокль освещенное лампой с зеленым абажуром окно чеховского кабинета.

Странно было думать, что огонь этой лампы был зажжен на самом краю страны, что здесь обрывалась над морем Россия, а там, дальше, уже лежат в ночи древние малоазиатские страны.

Я разбирал еще одну записку: «Зима в Ялте, снег на Яйле, его свет над Ауткой». Да. Зимой на Яйле лежала крошка легкого снега. Он отсвечивал в блеске луны. Ночная тишина спускалась с гор на Ялту.

Чехов все это видел вот так же, как мы, все это знал. Иногда, по словам Марии Павловны, он гасил лампу и долго сидел один в темноте, глядя за окна, где неподвижно сияли снега.

Иногда он выходил в сад, но тайком, чтобы не разбудить и не напугать мать и сестру. Мучила бессонница, и он долго бродил в ночной темноте один, как бы забытый всеми, несмотря на то, что слава его уже жила во всем мире. Но в такие вечера она не тяготила его.

А рядом белел дом, ставший приютом русской литературы. Давно замолкли в нем голоса Куридина, Горького, Мамина-Сибиряка, Станиславского, Бунина, Рахманинова, Короленко, но отголосок их как бы жил в доме. И дом ждал их возвращения. Ждал и хозяин, тревожившийся только наедине, по ночам, когда никто не мог этого заметить, когда его болезнь, тоска и тревога никого не могли взволновать.

Во всей огромной литературе о Чехове, во всех воспоминаниях о нем нет ни одного слова о том, что Чехов когда-нибудь плакал.

Его слезы видел только писатель Тихонов (Серебров), когда Чехов незадолго до смерти приезжал с Саввой Морозовой на Урал. Рассказ Тихонова производит потрясающее впечатление. То были скрытые от всех ночные слезы одинокого, по существу, брошенного и умирающего человека.

И слезы свои и свои страдания Чехов скрывал по своей доброте, по огромному своему мужеству и благородству, — только для того, чтобы не омрачать жизнь близких, чтобы не причинять окружающим даже тени неприятности.

Я разобрал еще одну записку: «Росси всегда мало» — и сразу же вспомнил вечер, когда мы с поэтом Луговским стояли в кабинете Чехова перед каминным и смотрели на левитановские «Стога».

Серые сумерки и бледная луна над мглистыми болотами, крик дергачей, огромные пространства лесов, простоявших этой ночью и сотнями других ночей втуне. Потому, что никто не видел их сырой и поблескивающей березовой листвы и не слышал их загадочных шорохов.

Леса были покинуты, одни. Ночь одиноко и напрасно шла над ними к отдаленному рассвету. И у Чехова болело сердце от того, что он тратит время здесь, ничего не видя, когда ему нужно, до зарезу нужно быть там, в России, на севере, чтобы следить за отблесками ночи на тесовой крыше избы или в омутах родных притихших озер.

Он рвался в Россию, он мучился и сгорал от досады, от горечи, от того, что не видел, а только угадывал всю ее нерасказанную и нераскрытую красоту.

Сожаление о жизни очень короткой и, по его мнению, почти бесплодной и только слегка задевшей его своим быстрым крылом, мучило его в этом доме с его давно устоявшимся уютом конца XIX века.

И не только его. Почему-то почти каждый человек, попавший в этот дом, начинал думать о своей судьбе, особенно если он проглядел свою жизнь и только сейчас спохватился.

Почему так случилось, трудно сказать. Очевидно, гармоничность чеховской жизни и его подлинный оптимизм заставляли людей проверять свою жизнь.

Сейчас разговор о чеховской тоске, хмуриности и серых людях может вызвать только улыбку. Как все это немудро и далеко.

С тех пор мы повзрослели и узнали, что такое чеховский оптимизм. У Чехова все в жизни получало дополнительное, чеховский цвет, рисунок жизни был точен и прозрачен. Его сострадание к людям было требовательным и действительным.

Запись «Цель фотографий» напомнила один вечер, когда мне удалось достать много карточек Чехова.

Я разложил их по годам — от гимназических до последней карточки, снятой перед смертью.

Ничего более поучительного я не видел. Весь путь Чехова — от бездумного

бытия к пустому шутнику с легкой пошлой до человека удивительной внутренней красоты, благородства и спокойного мужества — был поразительно нагляден.

Он сам себя воспитал. Он сам себя сделал таким и дал нам суровый урок порядочности по отношению к людям и к своему писательскому делу.

Чехов много страдал от предвзятости. Его провозгласили певцом тоски, скуки, нытья.

Страдал от предвзятости и Бунин, и чуть ли не до самой смерти. Критика объявила его барином, ледяным сердцем.

Только сейчас, когда опубликованы достоверная биография Бунина и его переписка, вдруг выяснилось, что этот крепостник был мелким служащим в земстве и репортером, обивал пороги в поисках грошового заработка, выпрашивал у старшего брата по два-три рубля, чтобы не умереть вместе с большой матерью от голода, испытывал множество унижений и неудач.

Сколько вымотанных нервов, скольких ненаписанных книг стоили эти преступные насюки критики и Чехову, и Бунину, и многим другим писателям. Этого, конечно, не сочтешь.

Две последние записки очень уж коротки, только по одному слову. Первая записку — «гений», а вторая — «доброта».

Ничего неясного в этих записках нет. Чехов — писатель гениальный. Это бесспорно. Но во внимание к его исключительной скромности никто из людей, писавших о нем, не сказал об этом прямо. Даже после смерти Чехова мы стесняемся об этом говорить, чтобы не рассердить его. Сам Чехов наложил запрет на это слово.

Чехов был скромнее, как может быть скромным только подлинно великий человек. Он с яростью относился к чванству, к слезе, к хвастовству.

Он писал, что самое характерное качество бездарного писателя заключается в том, что он ведет себя надутым и спесиво, как первосвященник. Скромность — одна из величайших черт русского народа. Скромными были все простые и замечательные русские люди. Ни один из них не занимался самохвалством, не улюлюкал на чужаков, не ставил себя в пример всем.

В скромности — моральная сила и чистота народа, в бахвальстве — его ничтожность и недостаток ума.

Относительно записки «доброта» можно сказать очень много. Но остается мало времени и места.

Можно говорить о доброте самого Чехова как человека, но гораздо важнее то обстоятельство, что Чехов был добр и гуманен как писатель. Пожалуй, нет в нашей литературе другого человека, который бы с большим доброжелательством относился к людям, страдал за них и стремился им помочь.

Да, он был добр, но беспощаден. Он умел ненавидеть, он не был мягкотелым проповедником всепрощения. Но он знал глубину человеческого горя и ужас человеческого несчастья, знал, как врач и писатель, и требовал от людей милосердия друг к другу.

Влияние Чехова в этом отношении было и остается огромным. Почти все передовое итальянское кино в лучших своих образцах — таких, как «Рим в 11 часов», «Похитители велосипедов», «Машинист», «Полицейские и воры», «Мечты на дорогах», — вышло из чеховского гуманизма.

Этой чеховской доброты, его всыскательного гуманизма не хватает некоторым произведениям нашей литературы. Это обедняет их и лишает в какой-то степени одного из сильнейших качеств.

Вот расшифровка всех записей, какие я нашел на своей старой папиросной коробке. Благодарю им я кое-что сохранил в своей памяти и смог рассказать об этом обаятельном человеке и писателе.

Самое его существование доказывает нам возможность и неизбежность подлинного человеческого счастья, ради которого мы работаем, боремся и побеждаем.

ЯЛТА, январь